Юрий ЩЕКОЧИХИН

ОДНАЖДЫ Я

Я не знаю, как вы, но я не могу понять: что за такой у нас великий праздник — День независимости России? От кого? От Украины? От Молдавии? От Таджикистана? Но даже в Московской области украинцы, молдаване и таджики работают как граждане СССР. Пока мы еще дети нашей советской империи.

Вот один эпизод из детства я и хочу рассказать



Рисунок Бориса Жутовского

За окном была такая густая мгла, что казалось: вытяни руку из распахнутого окна — и кусочек этой мглы останется у тебя на ладони. Пели какие-то ласковые ночные птицы, что-то вскрикивало нечеловеческим голосом, пряные южные запахи воспаляли воображение. И так далее, что-то такое же нежное.

Георгий (да, кажется, его звали Георгием... Или Гурамом?), сославшись на какие-то срочные дела, ушел, оставив меня одного с бутылкой киндзмараули, мягким овечьим сыром и зеленью.

И что? Он так же сидел за этим столом? И так же прислушивался к тишине? И такая же бутылка (а вдруг она из того еще погреба?) стояла перед ним? И такой же овечий сыр нежно таял во рту, оставляя крошки на усах?

И он подходил к окну? И такие же дальние звезды смотрели на него, печально размышляя, кому же одиночее — им или ему?

Черт знает что может прийти в голову после двух безобидных стаканчиков безобидного киндзмараули! Сейчас еще представится, как разомкнутся дубовые панели и какой-нибудь Власик со своими мордоворотами накинется на некоего охламона в шортах и легкомоя однообразная ленивоотдыхательная жизнь между морем и чачей будет прервана самым замечательным образом. Нугзар в то время был председателем грузинского гостелерадио, друг моих друзей и сам мой друг, и я-то знал, что не просто так — поздороваться и «привет-пока» — прислал он ко мне человека.

Георгий (да, правильно, Георгий, а не Гурам) представился директором (как он сказал) «одного маленького санатория», куда нам и предстояло сейчас направиться в его черной, несмотря на жару, «Волге» с разбитным усатым малым за баранкой.

— Далеко? — спросил я.

— Пицунду знаешь?

— Ну да...

— Не доезжая чуть-чуть... Увидишь.

И мы поехали.

от нас берег, пока не превратился в ленточку на горизонте, а потом и эта ленточка исчезла... Катер ревел, то опуская, то поднимая нос. Белоснежный след пенился за нами, какие-то чайки пытались догнать нас и расстроенно разворачивались к уже невидимому берегу. Мелькнула изогнутая спина дельфина. Но, может быть, мне это показалось...

— А слабо в Пицунду! — прокричал я сквозь ветер и грохот мотора.

— А не слабо! — радостно прокричал в ответ штурвальный.

Катер круто развернулся — так, что даже волна хлестнула за борт, и, гордо подняв нос вверх, помчался по направлению к берегу. Сначала узкая черточка показалась на горизонте и уже вскоре — деревья, дома, белоснежные корпуса гостиниц, песок, люди на песке...

Я выпрыгнул на берег: «Ребята, со мной?» — «Нам нельзя — мы при нем...».

Пошел по аллее сквозь кипарисовый коридор. Где-то попил кофе. Где-то глотнул вина. Где-то просто покурил

И вдруг я различил одинокую фигуру, застывшую на пристани...

В чем он? В белоснежном френче? В шинели, накинутой на плечи? «Что за придурок в шортах и легкомысленной маечке катается на моем катере? Что за времена настали?!» — может быть, что-нибудь такое обожгло его. А может, ничего и не обожгло, а он просто стоял, не видя ни моря, ни тоненькой ниточки, которая соединяет небо и море, погруженный в печаль и тоску о собственной не прожитой по-настоящему жизни.

Какой-то бред вдруг пришел в голову.

Я спросил Георгия: когда Сталин был здесь последний раз?

— В 51-м... Или в 52-м... Точно не скажу. Но знаю, что потом все, кто здесь работал, много лет ждали, что кто-нибудь приедет.

— Ждали?

— Ждали. Каждый день готовили завтраки, обеды, ужины...

Господи! Представить такое! Если сейчас здесь под сотню человек обслуги, то тогда-то — наверняка куда больше...

У СТАЛИН

мысленной маечке, а *тот* даже усом не поведет, а потом — еще смешнее: в тех же шортах и маечке где-нибудь за Полярным кругом... Бр-р...

— Нет уж... Не дождетесь, — сказал я сам себе и, плеснув в стакан сладостного вина, подняв его, повторил вслух (видимо, это была уже не первая бутылка киндзмараули, оставленная мне заботливым Георгием): — Нет уж! — придав этой фразе очертание замысловатого кавказского тоста...

Прошло уже лет пятнадцать или чуть меньше, но ненамного, а вот как помнится — и в том пространстве (хотя оно и очерчено в памяти смутно: что-то такое в чехлах, громоздкое, казенно-торжественное), и в ощущениях — то странное посещение сталинской дачи. Вроде бы дом как дом, и не такие потом видел. Но что-то царапнуло...

В то лето я отдыхал в Гульрипши, поселке между аэропортом и Сухуми, где прямо на берегу моря стоял дом творчества «Литературной газеты». Ох, что это было за место! Даже павлины бродили во дворике (теперь там, наверное, какие-то руины как памятник абхазо-грузинской войны. По крайней мере, от дачи Евтушенко, которая стояла по соседству, остался один фундамент. Несколько лет назад случайно столкнулся в центре Москвы с бывшим гульрипшским барменом: «Передай Жене, что лодка-то его цела. Мы ее сохранили». Я, честно, Жене про лодку сказал).

Однажды утром меня находит человек: «Я от вашего друга Нугзара Попхадзе...».

— Привет! — обрадовался я, уже предчувствуя, что

За свою жизнь я перепробовал много дорог: пыльных, дождливых, гладких и разбитых, широченных банов и узких тропинок, но та дорога вдоль моря от Гульрипши до сталинской дачи вдруг оказалась не выброшенной из памяти. Хотя что уж там? Асфальт — он и в Африке асфальт.

Я стал разбираться со своей памятью: чего это она взбрыкнула с этой дорогой? Но потом догадался! Я помнил ее так пронзительно потому, что такой, какой она была тогда — то прикасающейся к морю, то капризно отодвигающейся от него, то пронзающей толпы счастливых и загорелых, то отдыхающей среди пальм и кипарисов, — такой ее больше не будет. Спустя год (да, точно! Не пятнадцать лет назад я там был — меньше!) разгорится здесь беспощадная и бессмысленная война, и сквозь кровь и подбитые бэтээры суждено будет жить этой дороге...

Мы ехали, ехали... И Сухуми уже позади, и где-то справа остались новоафонские пещеры. И вдруг — не очень заметный поворот налево, под «кирпич», в какую-то шумящую чащу, поворот, еще поворот и еще один, шлагбаум, будка охранников...

Георгий (да, точно — Георгий) показывал мне свои владения: «Здесь жил Сам, здесь — Власик, здесь — Молотов останавливался, а это финская баня, которую строил для себя профсоюзный вождь, да недоделал, погнали за пьянство...».

Я слушал, смотрел вокруг, бродил по самой даче, в которой сейчас жили уже совсем другие постояльцы, но как человеку, с детства устающему от музейных экскурсий, мне интереснее было не видеть то, что показывал мне Георгий, а представить себя увидевшим *тогда, того*...

Сидел ли он в этом кресле перед экраном домашнего кинотеатра и хранит ли еще кресло хоть частичку тепла того тела? Не на этом ли казенном столе ожидали его расстрельной подписи люди, еще не ведавшие своего завтрашнего дня? Не склонял ли он голову на этот подоконник, беспомощно печалясь о несбывшихся мечтах детства?..

Какая-то чертовщина, помню, полезла в голову, когда я даже не осматривал окружающее сумрачное пространство, а, казалось, втягивал в себя воздух, которым дышал прежний владелец этого дома.

— Георгий, а сейчас кто здесь? — естественно, поинтересовался я.

— Сейчас? Сейчас — трое. Н. (честно, забыл фамилию этого завотделом ЦК) с супругой и Севрук.

— О, этого я как-то видел, — смутно вспомнил я физиономию замзавотделом пропаганды ЦК, который по торжественным дням появлялся в «Литгазете».

Потом мы еще смотрели на море, не догадывающееся, чью дачу оно омывало всего лишь три десятилетия назад.

— Давай так, — посмотрел Георгий на часы. — У меня сейчас партсобрание... Хочешь, пока покатайся на катере, а потом уже пообедаем.

— А что, здесь большая парторганизация?

— Семьдесят два человека... — какую-то такую немыслимую цифру назвал Георгий.

— Че-го-о? — Я чуть не прыгнул в море. — А сколько же вас всего-то здесь?

— Так раньше здесь еще полк стоял!

— А полк-то для чего?

— Как для чего? — удивился Георгий. — А если бы с *ним* что-нибудь случилось?..

Да, несправедливо устроен наш мир... Несправедливо.

«Несправедливо», — убеждал я сам себя, садясь в белоснежный катер, который несправедливо, то есть по блату, предоставил мне Георгий, нырнув в свое партсобрание.

Сопровождали меня на катере два молодых разбитных парня (явно не коммунисты, но, видимо, комсомольцы). Они тут же, как только взревел мотор, честно признались, что ошалевают от безделья. «Эти-то не очень любят. Говорят, укачивает...» — кивнул один на уже отдаляющийся берег.

— По-ехали! — по-гагарински крикнул я...

И — поехали. На всю мощь ревел мотор, все дальше, дальше, дальше отходил на бережку, усевшись на трухлявой коряге...

Помню, я ушел довольно далеко, так как вдруг обнаружил себя возле пансионата «Правда», где когда-то, очень давно, еще работая в «Комсомолке», отдыхал с любимой девушкой.

Там, наверное, был обед, так как пляж был абсолютно пуст, не считая какой-то толстой старухи с китайским зонтиком и двух ленивых местных собак.

Не встретив никого из знакомых, пошел назад — туда, к себе, к данному мне по какой-то социальной несправедливости, хотя и на время, катеру...

Штурвальный, услышав мои шаги на узкой палубе, проснулся, потянулся лениво, толкнул в бок напарника: «Игорек, подъем!».

И снова — рев двигателей, бурлящий гребешок за кормой и все отдаляющаяся и отдаляющаяся линия горизонта...

— Домой? — прокричал штурвальный.

— Домой... — в ответ прокричал я.

Катер развернулся, как и тогда, резко наклонившись, и помчался вперед.

Вот уже и горизонт показался, вот уже и береговая линия стала видна. И очертания той великой дачи, и маленькая пристань.

Целые дни не затухал огонь на кухне, целые дни топились бани, целые дни спасатели были готовы спасти хоть кого-нибудь, а массажисты — кого-нибудь помассировать, а врачи — хоть кому-то дать ложку микстуры.

А никто не приезжал!

А куда девались эти завтраки, обеды и ужины, которые были предназначены для того, кого нет? Понимаю, и тогда воровали, но, наверное, не до такой же степени! А солдаты со своим: «Стой, стрелять буду!». А офицеры, которые, отслужив положенный срок, так и не узнали, кого они здесь охраняли...

Собирались партийные собрания, на октябрьские и майские выходили на демонстрации (куда? В лес, что ли?), рожали детей, умирали от старости, даже родственникам не говорили, где работают, гордясь доверенной им тайной...

А никто не приезжал.

И я представляю, какая радость охватила всех, когда в начале шестидесятых в причал неожиданно уткнулся катер и оттуда, аккуратно поддерживаемый за локотки охраной, вылез Никита Сергеевич Хрушев.

По словам старожилов, которые еще остались с тех времен в обслуге (это Георгий мне рассказал), Никита Сергеевич прибыл на дачу не

очень трезвый или, скорее, совсем нетрезвый, приказал принести водки, выпил еще — и, как говорят, немало. Потом взял топор и начал рубить кипарисы, окружавшие дачу, выражаясь при этом всякими непечатными словами, из которых единственными, что не резали бы слух всякому интеллигентному человеку, были: «Я... б... вырублю... б... сталинское... б... отродье...»

Не знаю, легенда это или нет, но возможно, и не легенда: Георгий показал мне пни (я насчитал их целых шесть штук), которые при жизни были теми самыми, порубленными Хрущевым, кипарисами...

...А уже показалась кромка берега, а потом уже и сам берег: и дача, и пристройки при ней, и какие-то оставшиеся в живых кипарисы, и маленький причал, и одинокий человек на причале, из которого, как антенна, вырастала удочка.

Но чем ближе наплывал берег, тем все более узнаваемыми становились сначала громоздкая фигура, а потом и лицо этого одинокого человека.

подмигнул и круто повернул штурвал, и катер на глазах изумленного Севрука оставил его самого и удочку в одиночестве жизни.

Я обернулся и увидел то, что и предполагал увидеть: мне приветливо махали рукой вслед, как обычно на аэродроме машут вслед какому-нибудь уезжающему начальнику, чья физиономия уже застыла, прилепленная к иллюминатору.

Да, конечно же! Меня признали... Да, признали. Внуком или сыном секретаря ЦК или — бери выше — членом Политбюро.

(Кстати, сыном члена Политбюро я уже раз был. Спустя год после смерти Владимира Высоцкого Юрий Любимов поставил спектакль его памяти. Шум стоял необыкновенный. Ко мне в «Литгазету» заехал мой товарищ, актер Веня Смехов, который должен был сам играть в этом спектакле. «Поехали со мной... Я обещал привести Игоря Андропова, а он не смог. Сойдешь вместо него...» — «Веня, ты чего... Они же узнают...» — «Да кто его знает в лицо? Прорвемся! Ты только молчи — говорить буду

БЫЛ

я...». И мы на самом деле

А интересно, а если бы не было Сталина... Вернее, он бы был как существо физическое, как человек по имени Сосо... Мальчик, юноша, мужчина...

И вдруг вспомнил. Нет, даже не вспомнил, как вспоминаешь что-то совсем забытое, но вдруг прорезавшееся из глубины памяти. Это — совсем другое. Это то, что ты никогда не забываешь. Это — детство.

В детстве у меня был друг. Он был старше меня на четыре года: ему, допустим, было тогда 16 лет. Я жил в Москве, а он — на маленькой станции, где жила моя бабушка, вместе с родителями по соседству. Мы виделись с ним только на моих летних каникулах, и каждый раз я мечтал, когда же наконец настанут эти каникулы.

Саша играл на ударных в группе, где были еще труба, гитара и саксофон, и потому на танцы я проходил бесплатно. Иногда трубач, парень старше его, давал ему трубу, а сам усаживался за ударники. Как Саша тогда играл! И я очень гордился, что у меня где-то далеко от Москвы есть такой друг, и всем своим московским товарищам я много рассказывал о нем такого, что, наверное, в их глазах он представлялся чем-то вроде Джона Леннона и Луи Армстронга или — или я безнадежным врагом.

Но дело не в этом...

Однажды Саша мне сказал о своей мечте.

— Я, — сказал он мне, — хочу быть первым секретарем райкома партии.

— Зачем?— помню, удивился я.

— Ну, — начал перечис-

А

Так это же Севрук! Тот самый Севрук из ЦК, чье имя всегда связывалось со снятыми из газеты уже готовыми статьями, а появление в редакции — со всякими торжественными датами.

— Так он же никогда и катер-то не просил... Да еще с удочкой! — обернувшись к своему помощнику Игорьку, прокричал штурвальный. — Ну сейчас начнется...

Казалось, не только сам высокий чин из ЦК, но и все окружающее пространство, включая удочку, удивленно склонившуюся над его плечом, выражало высшую степень укоризны: вот, после стольких лет напряженной работы раз в своей жизни хотел вот просто... с удочкой... морской воздух... и так вот со мной...

Катер, будто чувствуя свою вину, на всех парусах, хотя и без паруса, становился все ближе и ближе к страдающему от несправедливости высокому человеку — и тут что-то хулиганско-очаковское пронзило меня, и я крикнул, прорываясь сквозь грохот двигателя:

— Разворачиваемся!

— Что!!! — обернулся штурвальный.

— Разворачиваемся! Я отвечаю! — прокричал я снова.

И тут что-то такое озорное мелькнуло в глазах штурвального, и он даже — нет-нет, правда, не показалось — я...». И мы на самом деле прорвались. Через один кордон, второй, третий...)

Так что мне было не привыкать, и потому-то я важно махнул рукой оставшемуся на берегу одинокому, но уже счастливому человеку.

...Возвращали меня к себе, в Гульрипши, уже совсем поздно, когда огромные южные звезды заполнили все небо. Изрядно выпитое киндзмараули не притупило твои чувства и не сделало голову бесполезной для дальнейшего существования, а напротив! Мир вокруг и в самом себе сделался собранным в своей прозрачности! Я что-то, помню, беспрерывно рассказывал Георгию, и, если не ошибаюсь, мы с ним что-то даже запели...

Уже в самом Сухуми я попросил свернуть с главной трассы вверх, к горе, у подножия которой стоял дом моего друга, замечательного художника Нугзара Мглалаблишвили, который работал тогда в Сухумском театре Гоги Кавтарадзе. (Нет теперь этого театра, нет и дома Нугзара, и того Сухуми нет, Нугзар живет в Москве, а Гоги — в Тбилиси.)

Георгий уехал, а потом мы еще долго сидели вдвоем с Нугзаром, естественно, пили замечательное вино, которое делал его отец, и даже без тостов! Что пить за здоровье друг друга, когда знали друг друга уже множество лет?

Нет, мы говорили о том, как мы живем. Почему живем так, а не иначе? Что там у нас, за спиной? Кто нас держит за пояс и не дает шагнуть вперед? Да и хотим ли мы сами оторваться от тех, кто нас держит? А если идти дальше, не оборачиваясь назад, то куда мы придем? И с кем?

— Зачем?— помню, удивился я.

— Ну, — начал перечислять Саша, — свой «газик» с шофером, жратва какая хочешь, милицию можешь построить...

— А как же труба? — спросил я, зная, что он хочет поступать в Тамбовское музыкальное училище.

— Но это для себя.

— А то?

— То... — задумался Саша. — Тоже для себя, да? Так, наверное?..

Саша не стал первым секретарем райкома партии, да и великим трубачом тоже не получилось. Музыкальное училище он, правда, закончил, а потом потекла жизнь, просто жизнь, на той же железнодорожной станции, разросшейся потом из-за строительства никому, как оказалось, не нужного завода суперфосфатов.

Но даже в самые тяжкие минуты своей жизни, когда уже совсем заканчивались деньги и было уже нечего продать, чтобы выпить, — он берег свою трубу.

И уже много позже, когда мы с ним виделись, он после первой выпитой бутылки вытаскивал завернутую в уже потертую замшу трубу. И мы вспоминали, как было когда-то, и какими мы были когда-то, и о чем мечтали когда-то.

Интересно, а что бы случилось с нами, со страной, с миром, если бы маленький грузинский мальчик по имени Сосо научился бы, что ли, играть на трубе, а уже старым разливал бы друзьям киндзмараули из кувшина с тонким высоким горлышком и без страха смотрел бы в окно, за которым уже сгустились сумерки и первые звезды начали появляться на небе?

Из неоконченной книги «Однажды я был»